

МЕЩАНСТВО, ЕГО ИСТОРИЯ И ФИЛОСОФИЯ

А.И. Фет

В статье исследуется явление, принявшее в наше время повсеместный угрожающий характер, для которого наиболее подходит слово «мещанство». Традиционное общество создало тип человека, который был полностью связан с родной ему социальной группой и не мыслил свою жизнь вне ее. Традиционная культура статична и не способна создать автономного человека. Динамическая культура сознает себя меняющейся и стремящейся меняться в желательном для нее направлении. Следовательно, такая культура ставит себе цели, отличные от простого самосохранения: она стремится в некотором смысле «стать лучше». Идея прогресса возникает и кристаллизуется в истории европейской философской мысли. Теряя религию, человек опирается на достоинство человеческого разума, который становится в человеке могучей силой. Разрыв с религией означает окончательное отделение автономной личности от коллектива. Но тут же возникает стремление к банальной простоте и усреднению и требование построения идеального общества здесь и сейчас.

Ключевые слова: мещанство, традиционное общество, динамическое общество, автономная личность, идея прогресса, принудительный характер науки.

DOI: 10.17212/2075-0862-2014-4.1-155-187

Явление, изучаемое в этой работе, не относится к какой-либо отдельной стране, но термин, его обозначающий, представляет особенное русское слово, употребляемое в особенном его значении, и вряд ли поддается точному переводу на какой-нибудь иностранный язык. Не случайно это явление было названо русским словом: вряд ли где-нибудь оно вызвало большую ненависть, чем в России, и вряд ли где-нибудь эта ненависть оказалась более оправданной. Весьма ожесточенным врагом мещанства был Максим Горький, больше всего содействовавший распространению этого слова в виде обидной клички, применявшейся кстати и некстати. Но не Горький ввел это слово в русский язык в его специальном смысле, означающем некоторую психическую установку и связанный с нею стиль жизни. В этом смысле его вполне сознательно применил Герцен. Замечатель-

но, что Герцен обозначал им чаще всего зарубежное мещанство, то есть определенный тип буржуазии, который он распознал при самом его рождении на западе Европы, около 1848 года. В России в то время, пожалуй, еще не было специфического «горьковского» мещанства, на которое этот термин и был перенесен. В официальном языке русского государства было «мещанское сословие», куда включались городские ремесленники и рабочие, торговцы и купцы, промышленники, чиновники и всякого рода заезжие иностранцы, а потом и русские интеллигенты, то есть служившие и не служившие на государственной службе учителя, врачи, техники и деятели других грамотных профессий.

История термина сама по себе интересна и заслуживает отдельного исследования. Но нас будет интересовать само явление, принявшее в наше время повсе-

местный угрожающий характер и, как большинство социальных болезней, неизученное и не имеющее названия. Как нам кажется, наилучшим названием для него будет не какой-нибудь искусственно сконструированный латинский или греческий термин, а исторически сложившееся русское слово, которое нам придется лишь напомнить и оживить.

Традиционное общество

Человек, как учил Аристотель, животное общественное, то есть не может жить вне общества других людей. С древнейших времен сложились группы людей, живших по общим обычаям и законам, сначала племена, а потом народы и государства. В каждом из таких исторически возникших сообществ возникла своя традиционная, то есть передававшаяся по наследству культура. Слово «культура» мы применяем здесь в его общем значении, употребляемом в этнографии и истории: в этом смысле оно означает образ жизни, систему принятых в этом обществе способов поведения людей. Каждое из традиционных обществ, сложившихся в глубокой древности в своих особых природных и этнических условиях, обладало своей резко выраженной физиономией. Таковы были шумерское, египетское, китайское общества. Такой же определенностью и неповторимой индивидуальностью отличались общества средневековой Индии или Европы. Традиционное общество воспроизводилось в течение десятков поколений без видимых изменений. Сыновья воспитывались в таком обществе так же, как отцы, и из них вырастали такие же люди. У них были такие же представления об окружающем мире, такие же повседневные занятия, та же религия. Традиционное

общество не было «консервативным», это название было бы для него недопустимой модернизацией. Консервативная установка всегда вторична, *реактивна* по отношению к некоторой вновь возникшей установке, ставящей под сомнение и расшатывающей обычный уклад жизни. «Консерваторы» появляются лишь там, где возникли уже «либералы» или «радикалы».

Древние египтяне вовсе не были консерваторами, они были попросту законсервированы. Египтянин был способен в известных случаях усомниться во всемогуществе какого-нибудь конкретного фараона и даже заменить его на престоле, но не способен был представить себе Египет без фараона вообще. В области религии он мог предпочитать одного бога другому, даже синтезировать единого бога Атона из атрибутов традиционных богов, но не мог представить себе Египет без культа и жрецов.

История Китая есть история смены династий, происходившей «революционным» путем, то есть чаще всего вследствие победоносных крестьянских восстаний. Предводитель такого восстания становился императором и основывал новую династию. Все это периодически повторялось, но ни одному китайцу не могло прийти в голову вовсе переменить государственную систему: все возможные улучшения сводились для него к замене «несправедливого» императора «справедливым». Китайская мифология населила чиновниками свой потусторонний мир, китайская беллетристика описывала перипетии чиновничьей карьеры. Личность императора или чиновника могла быть поставлена под сомнение, но не китайская система в целом. Варварские народы, рыскавшие где-то на краю вселенной, могли придерживаться других обычаев, но что за дело было до них Срединной

империи, которая была человеческим обществом в собственном смысле, обществом *настоящих* людей – желтолицых, с раскосыми глазами и говорящих короткими словами нараспев.

Египтянин называл все другие народы стандартным оборотом: «презренный народ такой-то», и в этом не было специального презрения к такому-то народу, а общее презрение ко всем *неегиптянам*. Во многих языках слова «человек», «люди» относились только к собственному народу и были его обозначением; остальные не были людьми в собственном смысле, а только существами, чем-то похожими на людей. Языки, на которых они говорили, были бессмысленным бормотанием, «бар-бар», и поэтому их назвали «варварами»; они неспособны были говорить по-человечески, а произносили непонятные звуки, подобно немым, а потому они были «немцы».

Таким образом, традиционное общество состояло из людей, жестко кондиционированных с детства условиями установленной, никем не оспариваемой культурной системы. В этом смысле – и со всеми оговорками, необходимыми при построении таких аналогий – такое общество можно уподобить зоологическому виду. «Вид» может вымереть, но в течение многих поколений не может заметно измениться. Если он не меняется, то в глазах индивида, в масштабе личной жизни представляется столь же неизменным, как другие природные условия, и столь же «естественным», как почва и климат родной страны. И опять надо опасаться модернизации. Египтянин не был «почвенником», потому что слово это обозначает *реактивную* установку, сопротивление воздействиям, сталкивающим человека с родной ему почвой; если угодно, он сам был частицей почвы, на которой росла

египетская культура. Традиционная культура во многом напоминает колонию «государственных насекомых», пчелиный улей или муравейник; идеал *муравейника*, приписанный Достоевским либералам и социалистам, в действительности был в далеком прошлом. Платон, гораздо лучше понимавший традиционное общество, изображал свою утопию как возвращение к идеалу архаического полиса вопреки разрушительной деятельности реформаторов и демократов. Мы увидим в дальнейшем, какие явления может вызвать слишком радикальное разрушение общественной структуры. Эти явления и в самом деле нивелируют человеческую личность, низводя ее к некоторому общему уровню, но не создают из таких стандартизированных личностей прочной, воспроизводящейся системы. Возникает не муравейник, а скопище муравьев, *не способных* к общественной жизни. Но мы будем еще иметь случай поговорить о Достоевском и других модных в наше время пророках.

Тип человека, созданный традиционным обществом, был гораздо более зависим от этого общества, чем мы можем себе это представить. Изгнание из родной страны было наказанием, почти равным смертной казни. Муравей, изъятый из муравейника, при любых условиях питания и среды может прожить несколько часов. Труднее представить себе, что чувствовал древний грек, подвергнутый остракизму. Особенно трудно представить себе эти чувства в обществе, где некоторые из наиболее видных граждан усердно хлопочут о собственном изгнании. Нам трудно понять, почему Данте так сильно переживал свой вынужденный переезд из Флоренции в другой итальянский город. Наши чувства гораздо легче переходят с одного предмета на дру-

гой. Мы легко покидаем родную страну, заявляя свою приверженность к человечеству в целом. И тот, кто не умеет любить одну женщину, утешается в наше время тем, что любит женщин вообще.

Индивид в традиционном обществе и механизмы формирования личности

Принадлежность к традиционному обществу представляла, таким образом, слабость индивида, но также и его величайшую силу. Он терял жизненную силу, едва лишившись связи со своим племенем, городом или государством; но пока он был среди своих, он был силен. Он не знал одиночества и не искал его. Совместные упражнения на палестрах, общая трапеза, поддержка соплеменников в кровавой резне, шум народного собрания – все это было естественной средой жизни, вне которой не было жизни вообще. Можно было любить или ненавидеть других афинян, но нельзя было перестать быть гражданином Афин. И надо было им родиться. Гражданство было не документом, а кровью.

Очень трудно понять, что означала в традиционном обществе человеческая личность, и была ли там вообще личность в нынешнем смысле этого слова (точнее, в смысле XIX века, до сих пор еще нам понятного). *Автономную* личность можно определить как человека, самостоятельно вырабатывающего свою систему ценностей. Иначе говоря, это человек, самостоятельно решающий, какие поступки надо считать хорошими и плохими и каковы должны быть цели отдельного человека и общества в целом. Конечно, ценности не рождаются из ничего одним только усилием мысли: они строятся из материалов унаследованной культуры.

Важнейшие ценности культуры усваиваются подсознательно в возрасте до 5–6 лет. Это значит, что у ребенка в непрерывном общении со взрослыми, и прежде всего с родителями или заменяющими их лицами, вырабатываются некоторые способы поведения, сохраняющиеся в течение всей жизни и лежащие в основе всего дальнейшего развития индивида, но не сознаваемые им и часто даже противоречащие его сознательному представлению о себе. Эти способы поведения складываются на основе врожденных инстинктов под действием «родительских» запретов и ограничений. Основной биологический механизм, стимулирующий поведение человека, предшествует человеческому сознанию как в истории вида, так и в истории отдельного человека; он состоит из инстинктов, в значительной степени общих человеку и другим высшим животным, и называется, по Фрейд, Ид (что по-латыни означает «Оно»). Ид не зависит от культуры, а получается человеком при рождении.

Родительские запреты, ограничивающие и направляющие проявления Ид, образуют другой механизм, называемый «подсознательной совестью», или Суперэго («Сверх-я»). В основе его лежат образы осуждающих и наказывающих родителей или других воспитателей, сформировавших подсознание ребенка. Для фактического (не сознаваемого индивидом) состава Суперэго существенны не словесные поучения родителей, а их подсознательные мотивы (на повседневном языке – их «подлинная сущность», обычно не сознаваемая обучающим родителем). Таким образом, основы культуры передаются незаметно для обеих сторон, ниже порога их сознания.

Несколько позже формируется так называемый «Идеал Эго», представление ин-

дивида о том, каким он хотел бы быть. Этот механизм, больше связанный с сознанием, моделируется по образу каких-либо действительно существовавших людей или по описаниям вымышленных героев.

Наконец, одновременно с первыми родительскими запретами у ребенка начинает строиться механизм обработки информации и оценки ситуаций; этот механизм, в значительной мере, но не вполне и не всегда действующий сознательно, называется «Эго» («Я»). Эго – это «рассудок» индивида, его «вычислительная машина». Эго не стимулирует индивида, как это делает Ид, не определяет его отдаленных целей, как это делает Идеал Эго. Задача Эго – подыскание подходящих средств для достижения заданной ему цели. В этом смысле роль Эго в жизни индивида можно сравнить с ролью науки и техники в жизни общества.

Таковы объективные, всесторонне подтвержденные опытом механизмы формирования человеческой личности. Поскольку мы стремимся к разумному пониманию человека и общества и принимаем лишь такие ценности, которые не унижают человеческий разум, мы не можем эти механизмы игнорировать. Кто не заботится о логической связности своего сознания и предпочитает мифы, тому незачем читать наши рассуждения. Он найдет психическое равновесие в какой-нибудь религиозной доктрине. Если пруд превратился в зловонное болото или общество стало мещанским, он скажет, что все в воле божьей, пути господни неисповедимы, а человек всегда образ и подобие божье. И рекомендует вам каяться и молиться. Как мы увидим дальше, позиция такого человека – *в наше время* – безусловно должна быть признана мещанской. Итак, примерно к шести годам откладывается тот основной материал, из которого че-

ловек должен строить свои ценности. Простые родительские уроки, и прежде всего уроки родительского примера, усваиваются навсегда и не могут быть отброшены. Горе тому, кто слишком уверует в какую-нибудь хитроумную систему и вздумает игнорировать запечатленные в нем уроки детства! Его личность от этого развалится, кто бы он ни был – жалкий честолюбец или благородный энтузиаст, студент Раскольников или террорист Кравчинский.

Материальные носители всех этих систем поведения нам пока неизвестны, точно так же как биологам долго были неизвестны материальные носители генов. Мы знаем о них по их видимым проявлениям. Может быть, запечатление раннего детства сохраняется в виде устойчивых цепочек связанных между собой нейронов. Во всяком случае, этот неизменный запас подсознательных правил поведения содержит лишь очень общие, элементарные вещи: сдержанность или экспансивность, скупость или щедрость, пониженную или повышенную способность к эмпатии (состраданию, сочувствию другому человеку). От первых уроков детства зависит, легко ли человек примет доктрину, требующую экспроприации имущества у слишком богатых людей или уничтожения людей нестандартного вида или образа мыслей.

Очень важно понять, что этот *первичный материал* еще не составляет системы ценностей индивида, а относится к ней, как материал вообще относится к готовому изделию. Что человек изготовит себе из этого материала, в значительной мере зависит от работы его сознания, комбинирующего или толкующего тем или иным образом свой первичный материал. Конечно, такая работа производится в определенных общественных условиях и *может быть* не ме-

нее жестко кондиционированной, чем выработка первичного материала. В традиционном обществе развитие сознания ограничено рамками доступной информации и подавляющим воздействием «общего согласия», незыблемостью основных идей унаследованной культуры. Понятно, что в этих условиях не только первичный материал, но и вся система ценностей зрелого индивида оказывается предельно стандартизированной, а возможные личные отношения не имеют для данной культуры принципиального значения.

Условия, в которых этот процесс кондиционирования личности может расстроиться, нетрудно себе представить. Для этого должно произойти достаточно быстрое по сравнению с человеческой жизнью расширение доступной информации и должен ослабеть нажим «общего согласия». Эти процессы тесно связаны между собой. Внезапное проникновение новых идей, обычно сопровождаемое новой техникой производства или демонстрацией физического могущества, расшатывает захваченное врасплох традиционное общество, лишает его уверенности в себе и подрывает «общее согласие»; так обстояло дело с цивилизациями Африки и Америки при вторжении европейцев. Обратное, общество, разделенное по отношению к основным принципам общественной жизни, не оказывает столь сильного сопротивления проникновению новых идей.

Главный интерес представляет не вторжение новых идей извне, подобное *распространению* инфекции; в самом деле, до этого где-то должен был возникнуть самый вирус, а это могло произойти лишь *внутри* некоторой культуры. Идеи, столь разрушительные для африканских и американских традиционных культур, не были при-

несены в Европу какими-нибудь пришельцами, а были выработаны внутри европейской культуры; если уж выражаться точнее, во взаимодействии индоевропейской «военно-демократической» культуры с семитской «теократической», соединившихся в христианской культуре. Однако, самое взаимодействие культур еще ничего здесь не объясняет. Культуры и до того в огромном числе случаев взаимодействовали, смешивались и после некоторого периода релаксации порождали столь же неподвижную традиционную культуру. Византийская культура была, наряду с европейской, детищем столкновения двух разнородных культур, указанных выше; она лишена была, однако, всяких стимулов для возникновения новых идей и после установления равновесия превратилась в традиционное общество, не менее застойное, чем Египет.

Культуру, которую мы до сих пор называли «традиционной», можно было бы назвать *статической*; ей чужда идея развития, *прогресса*, и мы слишком часто забываем, насколько эта идея исторически нова. Это не значит, что традиционное общество вовсе не менялось; статический характер его состоял в том, что изменение это было слишком медленно, чтобы человек мог его *осознать*. В древнем Египте могло произойти внутреннее расстройство или вторжение кочевников, но традиционное сознание не способно было истолковать такие события иначе как прискорбные нарушения единственно правильного порядка вещей и объяснить их чем-нибудь другим, кроме гнева богов. Таким образом, даже быстрые, соизмеримые с человеческой жизнью внешние изменения не изменяют статической установки человеческого сознания, если это сознание не поражено *новой идеей*. Гиксосы или персы представляли собой новую силу, но

не новую идею. Поэтому древний Египет, постепенно разрушаясь, оставался до конца древним Египтом, подобно тому, как разъеденный водой и ветром гранитный утес до конца остается гранитом.

Статическая культура не способна создать автономного человека.

Динамическая культура (история ее формирования)

Динамическая культура возникла в истории только один раз. Это столь же редкое и исключительное событие, как возникновение жизни или появление человека. Самая неповторимость, единственность этого события должна была привлечь к нему внимание всякого мыслящего человека. Но противники «прогресса», составляющие теперь подавляющее большинство нашей интеллигенции, совсем не мыслят. Им чуждо и чувство юмора, потому что они не признают смехотворность своей позиции. В самом деле, возражать против развития человечества так же смешно, как против возникновения жизни или человека. Но трудно отрицать, что живое существо для нас, людей, несравненно *интереснее* камня, а человек интереснее обезьяны. Точно так же общество, способное меняться, а не просто воспроизводить без конца свое египетское или византийское благолепие, для нас, людей XX века, несравненно интереснее и важнее, если только мы еще способны мыслить. Люди, напуганные сложностью жизни, часто завидовали прочности и долговечности камня. Многие бедствия, сопутствующие человеческой жизни, с камнем никак приключиться не могут. Позиция отрицания прогресса или враждебности прогрессу не тождественна религиозности. Умные религиозные мыслители, Бердяев и Швей-

цер, признавали и ценили прогресс. Позиция, о которой говорилось выше, является частью *мещанской философии*. Но пока мы продолжим *историю* мещанства: как мы увидим, серьезные причины вынуждают нас начать ее издалека.

Что же такое динамическая культура? Это культура, *сознающая себя меняющейся и стремящаяся меняться в желательном для нее направлении*. Следовательно, такая культура ставит себе *цели*, отличные от простого самосохранения: она стремится в некотором смысле «стать лучше». И поскольку человек, по справедливому суждению Аристотеля, животное общественное, то нельзя себе представить человека, стремящегося стать лучше в обществе, обреченном на неподвижность. Точнее, можно себе представить лишь некий условный идеал гражданской доблести, образцового воина Дорифора или передовика соревнования, до которого надо подтянуть подданных статического государства. Но уже идеал подражания Христу несовместим с вечной прокаженностью общественной жизни, и люди, отвергающие всякое общественное развитие, не должны были бы ссылаться на того, кто принес людям не мир, а меч, даже если это меч духовный. У верующих остается, конечно, возможность признавать лишь те изменения, которые от бога, и отвергать те, которые от человеческого *самоволия*. А различать их может, например, церковь, мудрость которой превосходит человеческий разум; таким образом, желательные направления развития общества будут нам указывать священники. Большую часть людей, отвергающих прогресс, составляют у нас, однако, неверующие; они не веруют ни в божественный промысел, ни в добрую волю человека. Итак, динамическое общество намечает себе некоторые цели, стре-

мьясь «стать лучше». И прежде всего оно сознает себя как меняющееся общество, считая изменение общества не только допустимым, но и желательным. Этим оно резко отличается от традиционных обществ, известных нам из истории. Каждое такое общество считало себя наилучшим, своих правителей – потомками богов, а изменение общественного строя рассматривало как нарушение божественного порядка.

Неустойчивость государственного строя могла возникнуть, когда какие-либо причины мешали образованию крупных централизованных государств, достаточно изолированных друг от друга. Существует теория, объясняющая возникновение многочисленных греческих городов-государств географическим рельефом страны: государства возникали в долинах и отделялись друг от друга горными хребтами. Вряд ли это объяснение применимо к городам-государствам Этрурии, одним из которых был вначале древний Рим, или к столь же мелким государствам финикийян. Мы знаем, во всяком случае, что вдоль берегов Средиземного моря в первой половине первого тысячелетия до нашей эры образовалось множество независимых государств-городов. Жители их не были, подобно египтянам или китайцам, автохтонным населением своей территории или владельцами ее с незапамятных времен; они овладели этой землей посредством захвата, в период, когда государства у них еще не сложились. Малочисленность населения, связь с морской торговлей, раннее развитие ремесел, географическая разобщенность – все эти обстоятельства приводились для объяснения, почему во многих из этих городов-государств возникла республиканская форма правления. Психология гражданина такого города была существенно отлична от

психологии подданного египетского фараона или персидского царя. Прежде всего у всех граждан, несмотря на деление по происхождению и богатству, было ощущение равенства и полноправия в решении общественных дел. И хотя идея сознательного совершенствования общества была им чужда, они не столь безусловно чтили установившийся порядок и способны были реформировать свои учреждения. Наконец, самое разнообразие этих учреждений в разных городах-государствах, нередко близких соседях приучило людей к мысли о многочисленных возможных вариантах общественного устройства и очень рано вызвало споры о преимуществах этих устройств. Мы знаем все это о греческих государствах; внутренняя жизнь их известна нам весьма подробно в отличие от финикийских и этрусских.

Однако, древнегреческая культура всегда оставалась *статической*, так как ей чужда была идея сознательного изменения общественной жизни. При всем разнообразии условий и политических механизмов греки смотрели на человеческие дела фаталистически. В прошлом был Золотой век и удивительные события, описанные в мифах; но в будущем греческий ум ничего не предвидел, кроме циклического повторения известных обстоятельств и учреждений. Греческий историк Полибий, писавший довольно поздно, уже во времена римского господства, составил даже схему чередования государственных устройств: монархия сменяется тиранией, тирания превращается в аристократию, аристократия – в олигархию, олигархия – в демократию, затем снова наступает монархия, и так далее – до бесконечности. Здесь важно не самое содержание схемы Полибия, довольно проникательно схватывавшей существенные чер-

ты жизни греческого полиса; важно мировоззрение, способ мышления, стоявший за этой схемой. Ницше, вообразивший, будто он додумался до идеи вечного повторения, мог не знать или забыть, что говорили об этом древние индийцы; но уж своих греков он должен был знать. Восторженность, с которой он поздравляет себя с этим открытием, надо считать уже признаком болезни.

Древний Рим из маленького городо-государства превратился в мировую державу, как это могло случиться с Афинами и несколько раньше произошло с Карфагеном. Существует теория, по которой численность населения республики должна быть небольшой, а для крупного государства единственно возможным способом правления является монархия. В древности это правило как будто соблюдалось, и вот Рим из республики превратился в империю. Вначале эта империя сохраняла республиканские формы, претендуя лишь на улучшение деятельности республиканских учреждений; под конец она приняла характер почти восточной деспотии. Ни на одном этапе этой долгой истории римлянин не признавал себя участником исторического процесса и тем более сознательным деятелем этого процесса. Напротив, все, что делалось в Риме, освящалось авторитетом прошлого, прецедентами, обычаями, гаданиями, короче говоря, это было медленное сползание по историческому склону, а не движение в выбранном направлении. Даже утопия древних была обращена в прошлое, как это видно на примере Платона.

Иудео-христианская культура, захватившая западный мир, принесла с собой мировоззрение, чуждое классической древности. Еврейские пророки предсказывали возвращение земного рая; христианство воспри-

няло эти пророчества и обещало человечеству идеальное будущее, тысячелетнее царство праведников в этом мире. Отсюда – из христианского хилиазма – и возник социализм¹. Однако, эти отдаленные последствия, важные для нашей темы, не могли проявиться до тех пор, пока сознание человека было сковано религией. В самом деле, пророчества, о которых только что шла речь, могли осуществиться лишь по воле божьей и в сроки, предначертанные божественным провидением. Роль человека сводилась к тому, чтобы повиноваться божественному плану, в котором ему – или его потомкам – отводилась роль объекта, а не субъекта. «Мечта о лучшем будущем», таким образом, родилась, но вряд ли в первый раз: во многих предшествовавших религиях тоже можно обнаружить предсказания, что Золотой век когда-нибудь вернется по воле того или иного бога. Это замечание вовсе не означает недооценки христианского хилиазма, действовавшего именно в той культуре, судьба которой нас здесь интересует.

Взаимодействие индоевропейской (греко-римской) и ближневосточной (иудейской) культур после нескольких столетий опустошительных войн и разрушений привело к новой культуре, средневековой христианской, которую мы для краткости назовем средневековой. Мир средневекового человека был достаточно четко определен, чтобы можно было считать эту культуру «традиционной», или «статической». Это был «христианский мир», на краях которого помещались «язычники» или «неверные», то есть ненастоящие люди. Несмотря на различия между народностями, образовавшими впоследствии нации и го-

¹ Единственным автором, который этого не знает, является И.Р. Шафаревич, неосторожно предпринявший браконьерскую экспедицию в чужие ему дебри истории.

сударства Европы, «христианский мир» в глазах средневекового человека составлял устойчивое единство. Высшим духовным авторитетом его был папа; высшей светской властью, по крайней мере теоретически, считался германский император, носивший тот же титул, что и владыки древнего Рима, и основывавший на этом свой авторитет. Такая система не нуждалась, по видимому, в усовершенствовании и соответствовала божественному плану; существование ее во времени было ограничено лишь Страшным судом. Сознание средневекового человека было жестко кондиционировано воспитанием и принимало в качестве неоспоримых истин ряд вещей, которые нам кажутся причудливыми и фантастическими. Вера в бессмертие души, в Троицу, в заступничество Богородицы и святых, в магическую силу реликвий; верность феодальному кодексу чести; система фикций, связанных с вассальными отношениями; прикрепление человека к определенному месту в общественной иерархии и неспособность мыслить себя вне этих рамок, доходившая до зоологической разобщенности «благородных» и рабов, – все эти черты средневековой культуры оставались «статическими» в течение почти тысячи лет. Знаменитый историк Буркхарт считал, что выделение самостоятельной личности из племенной и религиозной общности следует отнести лишь к эпохе Возрождения.

Философские ереси

Конечно, дело обстояло не так просто. Философы очень рано стали сомневаться в общепринятых понятиях: можно было бы даже определить философию как искусство во всем сомневаться. Сократ сделал своей специальностью социологию и пси-

хологию; он исследовал человека и отношения между людьми. Смелость его критики стоила ему жизни; но вряд ли представления Сократа о разумном и справедливом выходили за пределы *исправления* обычаев и способов правления Афин. Во всяком случае, идея общественного развития чужда тому Сократу, каким изобразил нам его ученик, ретроградный мечтатель Платон.

Гераклит, для которого «все течет, все изменяется», был консерватором и сторонником олигархического правления. Перикл был искренним демократом и, возможно, мечтал навязать афинскую систему всем грекам. В избранном обществе, собиравшемся в доме Перикла (Геродот, Фидий, Протагор, Анаксагор и Аспазия, обвиненная в богохульстве!), могли вестись куда более вольные речи, нежели сохранились в дошедшей до нас традиции. Говорилось ли там, что персы рано или поздно примут демократическую систему и что надо бороться за освобождение рабов? Нам кажется, что идеи этого рода просто не могли тогда возникнуть. Вероятно, в кружке Перикла говорили, что демократия – наилучшая система *для греков*, что отсталые спартанцы этого не понимают, а вот персы по природе своей нуждаются в деспотическом правлении; что раб, какого бы он ни был происхождения, обладает всеми свойствами человека, хотя и ослабленными рабским состоянием, но рабство неизбежно по законам природы.

Марк Аврелий, философ на троне, имел представление о совершенствовании отдельного человека, но не был радикальным реформатором государства. Во времена Антонинов были, впрочем, проведены важные юридические реформы. Но дело не выходило за пределы исправления наиболее вопиющих злоупотреблений. В отношении

природы человека Марк был скептик, как и все стоики. Стоик принимает *существующую* систему ценностей из равнодушия к жизни. Стоицизм вообще – философия упадка. Вера в развитие и улучшение человеческого рода предполагает героический энтузиазм. Возможно, люди круга Перикла были самыми автономными людьми древности. Когда мы читаем речь Перикла о государственном устройстве Афин, этот первый манифест демократии, трудно отделаться от впечатления, что здесь начинается сознательное отношение к общественной жизни. И начинается оно без ложных иллюзий! Все народы, говорит Перикл, были свидетелями нашей славы, причиненного нами *добра* и *зла*. Ибо нельзя совершать великое, не причиняя зла.

Утопил же Христос стадо свиней, которые, возможно, не были худшими свиньями в Иудее.

Общество должно было оставаться статическим до тех пор, пока человек воспринимал внешние условия своего существования как данные ему раз навсегда и не подлежащие изменению по воле человека.

Бессилие человека перед природой обусловило его бессилие перед стихией общественной жизни. В этом смысле глубокая истина содержится в словах Гольбаха, которыми начинается его главный труд: «Человек несчастен потому, что не знает природы». Идея о том, что общественный строй представляет собой не божественный первично установленный порядок, а просто механизм, служащий потребностям человека, могла возникнуть лишь тогда, когда человек почувствовал себя достаточно *сильным*. Рецидивы преклонения перед стихией истории, поистине мазохистские для со-

временного сознания, случаются и до сих пор, когда серьезная историческая неудача подрывает веру в человека. Бердяев, проникательный знаток истории, приветствовал и поддерживал такую очевидную гадость, как Первая мировая война, и его не понимающий истории эпигон, известный русский писатель, тоже полагал, что все русские люди должны были не жалеть своей крови для успеха этого предприятия. В чем же тут дело? Почему умнейший философ Бердяев не видит слишком человеческих и достаточно грязных причин, вызвавших эту убийственную для культуры бойню цивилизованных наций Европы? Дело в том, что для Бердяева – и его не понимающих истории эпигонов – войны вовсе не являются «продолжением политики другими средствами», делом человеческой корысти, страха или глупости, а особенными, из ряда вон выходящими событиями, ниспосланными богом для целей, ведомых ему одному. Как всегда, человек пытается проникнуть в тайны божественного промысла. И вот Бердяев создает фантастические построения, в которых православному богу приписывается дарвинистская борьба между расами, ницшеанский культ силы и бредовая геополитика. Но главное – фатализм Бердяева по отношению к истории. Стоит какому-нибудь глупому кайзеру или царю затеять кровавую авантюру, и сразу же вместе с попами, твердо знающими в каждом случае, на чьей стороне Господь, это человеческое жертвоприношение приветствует какой-нибудь философ.

Но вернемся к истории великой идеи. Трудно сказать, когда в истории европейской мысли возникла идея *прогресса*. Для Монтескье история представляет лишь поле наблюдения, где можно видеть всевозможные образцы нравов, обычаев и спо-

собов правления; осторожный наблюдатель может сделать некоторые рекомендации, усмотрев в исторически сложившихся условиях своей страны аналогию с тем или иным известным из истории государственным организмом.

Всего несколько десятилетий отделяет от «Духа законов» «Общественный договор», но насколько разительна перемена в мышлении, в самом подходе к общественной жизни! Сравнение этих двух книг говорит явно не в пользу Руссо с литературной, культурно-исторической и просто с человеческой точки зрения; неуклюжая, плохо написанная книга Руссо, в которой он доводит свой тезис до смехотворной крайности и как будто предвещает все несчастья, какие могут из него выйти, теперь читается как злая пародия на заключенную в ней *идею*. Вряд ли можно приписать эту идею самому Руссо. Она носилась в воздухе, и дух времени, как это часто бывает, выбрал для своего выражения неподходящий орган. Впрочем, так ли уж случайно идея общественного договора появилась в этом примитивном, неуклюжем виде? Нет ли закономерности в том, что первый паровоз был не так красив, как лошадь, и даже двигался с меньшей скоростью? Я намеренно прибегаю к этому рискованному сравнению, отдавая себе отчет в том, как плохо паровоз представляет – и рекомендует современному читателю – какой бы то ни был уважаемый в его мнении прогресс. Но в своей области паровоз *был* прогрессом, и последовательно отрицать это может лишь тот, кто до сих пор путешествует в карете.

Когда несколько позже американцы принялись составлять конституцию Соединенных Штатов, решающий шаг был уже сделан. Отцы конституции не были мечтателями вроде Руссо, а практическими деяте-

лями и учениками Монтескье. Но они уже в значительной мере избавились от исторического фатализма, хотя их смущало искусственное учреждение республики на необъятной территории, где исторические примеры позволяли только монархию восточного типа. С каким трудом они избавились от преклонения перед историей! Как старались они следовать шаблонам истории и как боялись ее творить! Но то, что они создали, не имело примеров в прошлом и держится уже двести лет.

Американская революция открыла эру писанных конституций. Идея творимой истории, направляемой сознательными усилиями людей к лучшему будущему – иначе говоря, идея прогресса – господствовала в западном мире двести лет. Быстрое изменение западного общества объясняется не только развитием средств производства, как полагают марксисты, но и психологической установкой, считавшей такое развитие желательным и неизбежным. В наше время идея прогресса не вызывает прежнего энтузиазма. Человек, потерявший веру в свои силы, ищет себе в истории тихую пристань и придумывает оправдание для такого образа мыслей. Можно ссылаться на ограниченность земных ресурсов, можно вернуться к идее вечного повторения. Хорошо было бы снова уверовать в бога, сохранив при этом не только физический, но и духовный *комфорт*. В общем, может сложиться впечатление, что эпоха прогресса близится к концу.

Есть, однако, серьезные причины, по которым развитие человечества должно продолжаться. Главная из них состоит в том, что возврата к прошлому нет. Для того чтобы *выжить*, человечество должно развиваться, и притом достаточно радикально. Но это уже предмет другого разговора.

Чтобы изменилось отношение человека к общественному миру, должно было измениться его отношение к миру вообще. Он должен был поверить в себя. Вся христианская традиция была против такой веры в себя. Христианское смирение означало не только признание собственных слабостей и грехов, но и в известном смысле их увековечение. Человек омрачен первородным грехом, он не может не грешить, не может не заблуждаться. Первородный грех лишил его не только физической, но и духовной силы. Он не способен видеть истину, принимать правильные решения без помощи свыше. Он нуждается в руководстве, и не только в руководстве Священного Писания, но и в прямом руководстве учреждения, хранящего священное предание, – церкви. Нет христианина вне церкви, всякий, кто вне церкви, – еретик. Французский епископ Боссюэ предложил определение этого понятия: «Еретик – тот, кто доверяет своему разуму и руководствуется собственным мнением». Это вовсе не пародия какого-нибудь безбожника, а точное выражение церковной доктрины.

История ересей чрезвычайно поучительна. Статический характер общества и мышления вовсе не означает, что в таком обществе нет отклоняющихся, «диссидентов». Взгляды людей в условиях традиционного общества кондиционируются вокруг некоторого «среднего значения», хотя и с неизбежным «разбросом». Культура статична в том смысле, что «среднее значение» меняется медленно по сравнению с человеческой жизнью. Отклонения человеческого типа от среднего значения, выработанного в статической культуре, и есть ереси. История христианских ересей нам лучше всего известна, но то, что мы знаем об

индийских и магометанских, нисколько не меняет общей картины. Ереси приходят и уходят, а культура остается неизменной. И слова епископа Боссюэ выражают отношение официального нормативного сознания традиционной культуры ко всевозможным отклонениям: отношение это безусловно отрицательно. В XVII веке вовсе не считалось похвальным и желательным доверять своему разуму и руководствоваться собственным мнением.

Реформация, конечно, распатала церковную систему, подготовив появление автономного мышления. Но люди реформации не обладали еще достаточной свободой мышления, чтобы поставить под сомнение всю религиозную доктрину в целом, не говоря уже о всей системе общественной жизни. Много говорилось о том, что протестантизм принес с собой свободное исследование, во всяком случае в области религии, и непосредственную духовную связь верующего с богом. Несомненно, такие формулировки представляют собой недопустимую модернизацию. Реформация казалась ее деятелям *возвращением* к первоначальным истинам христианского учения, восстановлением прошлого, а не путем в будущее. Что же касается светских аспектов реформации, то мышление Лютера не шло дальше пресмыкательства перед князьями. Очень скоро установилась протестантская догма, уязвимость которой – с точки зрения освобождения человеческой мысли – состояла в ее беспринципности и циничном приспособлении к обстоятельствам: «Чье правление, того и религия». Это значило, что каждый немецкий князь сохранял за собой право принудить своих подданных к той религии, которую он считал для себя удобной. Боссюэ, со своей католической точки зрения, считал эти

разветвления протестантских учений доказательством их ложности, поскольку бог позаботился о том, чтобы ереси пожирали друг друга.

Решающим фактом, свидетельствующим о рождении автономного человека, было появление *атеистов*. Теперь, когда общее неверие расплывает последние устои европейской культуры, мы уже не способны удивляться этому явлению, как удивлялись наши предки. Но философия состоит, между прочим, в способности удивляться тому, что всем кажется простым и понятным. Нельзя себе представить большего разрыва с прошлым, чем отрицание бытия божия. Смелость такого шага несравнима ни с чем, на что решалась прежде человеческая мысль. Это не было изобретением, рождающимся в голове одного человека: изобретение внезапно и представляет прорыв в будущее. Это было мучительное расставание с прошлым: старое мышление отдиралось кусками, как старая кожа, прикрывающая зажившую рану. И длилось это несколько поколений. Не было человека, придумавшего безбожие: все это вышло постепенно, в течение нескольких поколений, и нельзя сказать, что вот этот человек еще вполне веровал в бога, а тот уже вовсе не веровал. Эпоха Возрождения не знала настоящего атеизма. Люди Возрождения были часто богохульники, но в трудную минуту всегда возвращались к суевериям своего детства. Интересны в этом смысле дневники Леонардо. У этого человека, исследовавшего все на свете и не верившего никаким авторитетам, мы рассчитываем найти последовательное безбожие. Оказывается, до такой смелости Леонардо не дошел. Даже в записях, которые он вел для себя, он не способен оборвать пуповину, связывающую его с религией. Религия

его вялая и бледная, истонченная до бессилия, и Леонардо как раз в этом бессиле: в нем нет глубины духа, толкающей человека к «борьбе с проклятыми вопросами». Тайна Леонардо в том, что у него была слабая душа, но он был слабодушный христианин.

Трудно сказать, когда появились первые *настоящие* атеисты, но это случилось в XVII веке, в ходе развития ересей, после Реформации все дальше отходивших от догмы. В XVIII веке безбожие укрепилось и из дерзости отдельных умов превратилось в доктрину. Родиной атеизма как последовательной доктрины была Англия, и это было, как мы скоро увидим, вовсе не случайно. Но английские атеисты не решились сделать последний шаг, сохраняя фикцию непознаваемого для людей, отставленного от дел и, по существу, лишнего бога; они осторожно называли себя «агностиками».

Все до конца сказали французы, принявшие аргументацию английских агностиков и отбросившие их осторожность. Около 1770 года во Франции модно было смеяться над всеми божественными предметами и изображать религию как выдумку мошенников, используемую другими мошенниками для эксплуатации простаков; эта система взглядов называлась «Просвещением».

Как мы уже говорили, автономное мышление может родиться лишь при определенных условиях: надо, чтобы в общество внезапно (в историческом смысле) проникли новые идеи и чтобы ослабло «общее согласие», кондиционирующее человеческую личность. Реформация подготовила почву для освобождения личности, подорвав единство христианской доктрины и авторитет церкви, поддерживав-

шей это единство. «Общее согласие» в религиозно разобщенной Европе давило не столь сильно, как в средневековой, где все грамотные люди были монахи и все монахи повиновались папской курии. Миряне начали читать Библию, что у католиков не поощрялось, а в Средние века и вовсе было им запрещено. Возможность различного толкования священных книг подготовила достаточно разнородную культурную среду, где индивид оказывался в поле действия многих сил и где согласие с одним учением было несогласием с другим, столь же реально существующим перед Богом и людьми. Труднейшее препятствие для самостоятельного мышления – подумать что-нибудь, чего ни один человек не думает. Психологи много писали о «суггестивном», подсказывающем давлении общественного сознания. И вот это сознание развалилось на отдельные секты, а католицизм стал просто самой многочисленной из этих сект. Последствия такого положения вещей были вовсе не так благоприятны для этой старейшей секты, как представляла себе епископ Боссюэ.

Но сама по себе Реформация не составляла еще той новой, радикальной идеи, которая могла бы вызвать к жизни независимую человеческую личность. Реформация, как мы уже говорили, искала свои идеалы в прошлом и быстро превращалась в догму; «свобода исследования» в вопросах религии существовала скорее у профессоров богословия XIX века, чем у современников Лютера и Кальвина, которых за слишком свободное исследование могли просто жечь. В XVII веке католики и протестанты равным образом прибегали к этому аргументу. Более холодные доводы требовали иного устроения и возникли на иной почве.

Наука. Принудительный характер науки

Есть сила, действующая в человеческом обществе и особенно недооцениваемая в наше время. Эта сила – человеческий разум. Во избежание недоразумений мы будем понимать это слово в узком и ограниченном смысле – как способность человека к сознательному исследованию окружающей его среды и самого себя. Конечно, такое исследование, как всякая деятельность человека, имеет свои стимулы в подсознании, а решающий этап его связан с так называемой интуицией и также происходит в подсознании. Но постановка вопроса и окончательный результат допускают отчетливую сознательную формулировку. Иначе говоря, исследователь ставит себе определенный вопрос и в случае успешного исследования дает на него определенный ответ. Слово «определенный» означает здесь «четко формулируемый сознанием исследователя». Но такая формулировка, даже возникающая без общения с другими людьми, имеет непременно *словесную* форму и, следовательно, может быть сообщена и однозначно понята другими людьми. Иначе говоря, «определенный» означает здесь по существу то же, что «объективный».

Есть еще одно слово, равнозначное этим двум в рассматриваемой ситуации: слово «принудительный». Исследование в том объективном смысле, как мы его описали, обладает *принудительной силой* не только для одного исследователя, но и для любого «компетентного» человека, то есть человека, способного проследить за всей последовательностью экспериментальных и логических операций, ведущих к предлагаемому результату. Конечно, здесь можно было бы усомниться, какого человека следует признать «компетентным» в той или

иной ситуации. Обычно компетентность можно трактовать попросту как понимание, о чем идет речь, и некомпетентность, как правило, не оспаривается при достаточно определенной формулировке утверждений. Мы не будем дальше углубляться в вопросы гносеологии. Исследование, результаты которого принудительны для всех, кто их понимает, мы назовем *наукой*.

Таким образом, мы ограничиваем здесь понятие науки, отделяя от него другие виды деятельности, имеющие существенно иной характер или еще неразвившиеся до объективного знания. Так называемые «гуманитарные науки» представляют с точки зрения принятой нами терминологии сложный конгломерат, состоящий из простых описаний, моральных оценок и вкрапленных в эту ткань научных выводов. В историографии, например, может быть вполне научный фрагмент, устанавливающий дату какого-нибудь сражения, и рядом с ним сентиментальная оценка вроде известной греческой эпитафии на разрушение Карфагена: «Худшие люди над лучшими здесь одержали победу».

Так называемые «описательные науки» *могут* быть науками в полном смысле этого слова, даже если «компетентность» требует специального опыта, с трудом описываемого словесно. Очень трудно определить, чем собака отличается от кошки, так чтобы по этому определению их могла отличить вычислительная машина, но это не мешает морфологии и систематике животных и растений быть объективными науками.

Таким образом, наука не обязательно должна быть «формализованной» или насыщенной математикой, как теперь модно говорить. Наконец, такие науки, как этика, эстетика и философия, должны быть просто переведены в другую категорию челове-

ческих занятий. Их «постановки вопросов» и «результаты», если вообще можно о таких вещах говорить, ни для кого не принудительны, как бы он ни был «компетентен».

Все сказанное вовсе не означает, что мы даем здесь «ненаучным» видам человеческой деятельности пренебрежительную оценку. Напротив, некоторые из них в наше время бесспорно важнее для людей, чем научные исследования. Например, мы отнюдь не презираем *всякую* философию. Мы предлагаем здесь вниманию читателя философию, содержащую очень мало принудительных результатов; все, на что мы можем рассчитывать, это сделать нашу философию *убедительной*. Очевидно, в презрении к философии мы никак не виновны.

Итак, мы определили, насколько можно точно, понятие науки. В этом ограниченном смысле наука может произвести впечатление чисто технической, специализированной работы мозга, имеющей лишь косвенное отношение к самосознанию человека и его исторической судьбе. Если уж за наукой признается – в наше время – какая-нибудь историческая роль, то чисто разрушительная и безусловно вредная: ученые придумали ядерное оружие, телевидение и множество других вещей, нарушивших спокойствие человека. В наше время модно высказываться против науки. Мы не будем здесь касаться нынешней науки и ее влияния на современную жизнь. По-видимому, современная публика нашла в науке удобного козла отпущения за свои грехи, и читатель уже не удивится, если мы – пока бездоказательно – назовем такую позицию мещанской.

Нас будет интересовать здесь роль науки в процессе освобождения человеческой мысли и в создании автономной личности,

человека, занимающего самостоятельную позицию по отношению к миру. Можно ли представить себе, что *разум* играет столь важную роль в *психической жизни* человека? От занятий математикой, физикой или химией, конечно, могли произойти разные технические новшества, но каким образом эти занятия могли повлиять на общие установки человека по отношению к важнейшим вопросам его бытия? И если это могло случиться с каким-нибудь одержимым своей профессией ученым, то как могло это повлиять на чувства и представления больших человеческих масс, никогда не волновавшихся по поводу научных открытий? Марксисты охотно признают историческую роль науки, поскольку она питает идеями технику, а та создает новые средства производства. Все это верно, но не имеет прямого отношения к интересующему нас вопросу.

Нас интересует, прежде всего, влияние науки на тип человеческой личности. Влияние это возникло не сразу и несколько загадочно. Можно даже усомниться, нет ли здесь обратного процесса: сначала появился тип личности, склонной к трезвому исследованию окружающего мира, а потом уже наука. Систематическая наука в современном смысле начинается с Ньютона, впервые воздвигнувшего стройное здание математической физики, послужившее остовом всего естествознания и образцом научного изучения природы. Вряд ли какое-нибудь событие, не исключая открытия Америки, столь четко отделяет Новое Время от Средневековья, как «Математические начала натуральной философии» (1687). До этого научные открытия были изолированными прорывами в средневековом мышлении; после Ньютона началась непрерывная и планомерная работа построения научно-

го мировоззрения. Не случайно ньютонизм (и агностицизм примерно в то же время) возникло в Англии, вступавшей тогда в промышленную революцию. Об этом было много написано, и влияние общественной среды на развитие науки можно подтвердить на обширном материале. Прежде чем перейти к обратному процессу, который нас главным образом интересует, мы сделаем только одно важное замечание.

Местом, где зародилась первая в истории *динамическая культура*, называемая теперь *западной*, или *европейской культурой*, была *Англия*, а временем ее рождения был *XVII век*. Те, кто любит символические даты и яркие события, знаменующие приход новой эпохи, могут выбрать себе одно из событий английской истории, например казнь Карла I (1649), подорвавшую почтение к королевской власти вообще. Раньше случалось, что королей свергали с престола и убивали. Но англичане первые решились *судить* своего короля и осудили в его лице самую монархическую власть. Можно связать, наступление новой эпохи с философией Локка, в которой человечество, казалось, впервые выздоровело от паранойи средневековья и прочно стало обеими ногами на почву здравого смысла.

Но революция, совершенная Ньютоном, была глубже.

Люди, положившие начало систематической науке, несли в себе средневековое сознание. Коперник был деятельным и лояльным католическим священником, и нет причин сомневаться в его правоверии. Кеплер был полон химерических представлений своего века. Книги его представляют причудливое нагромождение суеверий и фантастических построений, среди ко-

торых сверкают три закона движения небесных тел. Самый подход Кеплера к изучению природы был не эмпирический, не индуктивный, а пифагорейский. Чтобы найти закон планетных расстояний, он вписывал друг в друга правильные многогранники лишь потому, что число их было равно числу известных ему планет. Что касается причины движения планет, то он попросту полагал, что их подталкивают ангелы. Чтобы правильно понять его время, вспомним, что ему пришлось спасать от костра свою мать, обвиненную в колдовстве, и зарабатывать себе на жизнь составлением гороскопов. И хотя Кеплер достаточно превосходит своих современников, чтобы смеяться над астрологией и не считать собственную мать ведьмой, он стоит еще обеими ногами в средневековье. Можно сказать, что он только выглянул в Новое время и щурится от слишком яркого света.

Так же обстоит дело и с Ньютоном. Ньютон был не столь отъявленным вольнодумцем, как некоторые придворные кавалеры его времени. Сознание его было таким, каким могло быть сознание крестьянского сына, родившегося в середине XVII века. Это был век, когда сама революция могла совершаться лишь под видом христианского пиетизма. Ньютон не знает, как совместить открытые им законы механики с вездесущим божьим, и прибавляет еще одну аксиому, примиряющую науку с религией: «Вездесущие божье не препятствует движению тел». Иначе говоря, планеты проходят через это вездесущие без трения. На старости Ньютон принимается исследовать библейскую хронологию и приходит к заключениям, не уступающим по химерической точности вычислениям профессиональных богословов. Напрасно видят в этом болезненную аберрацию ве-

ликого ума. Для нас физика и хронология Ньютона выглядят несовместимыми; между тем они легко совмещались в его сознании, ибо это сознание было еще средневековым. Кстати, все, что мы знаем об общественных взглядах Ньютона, свидетельствует о том, что сознание его и в этом отношении уступало вольнодумному духу его времени. Великий ученый сплошь и рядом – заурядный «мыслитель»; он просто виртуоз своего дела, своего рода атлет, обычно не более способный к постижению «общих идей», чем мускулистый парень, созданный фантазией Родена. Из творцов европейской науки человеком Нового времени был, может быть, один Галилей. Но причину этого надо искать не в его научных занятиях, а в том, что он завершал собой *итальянское* Возрождение и как человек продвинулся дальше Кеплера и Ньютона.

Может создаться впечатление, будто научные занятия никак не влияют на тип профессионального ученого и тем более на тип среднего человека, далекого от науки. Это впечатление неверно. Как и в случае первых безбожников, традиционное сознание меняется очень медленно, в течение нескольких поколений, и тип ученого, «верующего в науку», достигает своего завершения лишь в XIX веке. Важна *неотвратимость* этого процесса, его «принудительный» характер для человеческого сознания. Некоторые следствия такого перерождения человека вызывают изумление и заслуживают внимательного рассмотрения.

Дело в том, что причины и следствия здесь как будто удивительно несоизмеримы. Современный человек не может уверовать в Бога, потому что это ему *смешно*. Учения мировых религий зародились в те времена, когда сознание человека было *наивным*, и были приспособлены к этому созна-

нию. За тысячу лет до Рождества Христова, когда создавался Ветхий Завет, и через тысячу лет, когда создавались Евангелия, психика человека была совсем не такой, как теперь. Она легко вмещала противоречия, не сопоставляла разные стороны опыта и, не видя в мире иной закономерности, кроме капризной воли божества, ежеминутно ожидала *чуда*. Такой основной фон человеческого сознания и сопутствовавшая ему подсознательная установка делали человека *способным к религии*. Его потребность в небесном защитнике и покровителе, заменяющем отца, в очистительной силе молитвы, наконец, в надежде на лучшее будущее, хотя бы смещенное в потусторонний мир, — эта потребность могла удовлетворяться беспрепятственно, не вступая в противоречие с какой-либо установившейся структурой его сознания.

Иначе устроена психика нашего современника. Его сознание не наивно, оно скептически и привязано к доказуемым фактам. Не важно, что некоторые из этих фактов он принимает на веру: мало кто может объяснить, почему он верит в шарообразность Земли, и совсем уж редко можно встретить человека, понимающего природу атомной энергии. Важно, что человек нашего времени с детства кондиционируется таким образом, что *верит* всем утверждениям науки, и эта вера, разделяемая всеми окружающими, переходит в подсознательную установку по отношению к внешнему миру и самому себе; установка эта — назовем ее упрощенно *реалистической* — представляет собой столь же неизбежный факт, каким была наивная, жаждавшая чуда установка современников Христа. Она поддерживается всей жизненной практикой современного человека, живущего среди искусственных вещей и устраиваемых явлений, очевидным

образом свидетельствующих о *всемогуществе* науки. Наука стала фетишем современного человека, неполноценно заменившим ему религию. И если ему на этом фоне предлагают архаические понятия старых мировых религий, он ощущает при этом то же, что вызывает обычно у человека резкий диссонанс, срыв в неуместную тональность. Ребяческая выходка в серьезном деле, иначе говоря — ему смешно. С этим, главным образом, и связана религиозная импотенция современного человека. Мы ощущаем ее не столь остро, как люди, впервые столкнувшиеся с этой проблемой. Мы уже не видим вокруг себя истинно верующих, то есть людей, способных к религиозному переживанию, а не религиозной болтовне; если видим, то в непрестижных группах населения — каких-нибудь старушек, которые сами по себе — с точки зрения нашего «реалистического» сознания — смешны.

Но есть более глубокие мотивы нашего неверия. Вернемся к поколению людей, впервые потерявших религию. Это была страшная катастрофа, которую нам трудно себе представить. Мюссе оставил нам удивительное стихотворение, вопль отчаяния человека, у которого отняли бога. Так как поэту и ребенку всегда надо свалить на кого-нибудь вину, то виновным оказывается Вольтер:

Оно упало на нас, это необъятное строение,

Которое ты подрывал день и ночь своими ловкими руками!

Мировой порядок сменился хаосом:

Теперь одна случайность ведет во тьме Мира, пробудившиеся от иллюзий...

Поэт сознает свое неизлечимое неверие:

Да будет дозволено облобызать пыль (распятия)

Самому неверующему сыну этого века без веры,

И плакать, о Христос, на этой холодной земле,

Которая жила твоей смертью и умрет без тебя!

Различие между верующим и неверующим человеком состоит, прежде всего, в том, что первый из них сознает себя *бессмертным духом*, для которого земная жизнь представляет лишь прелюдию к вечности; второй же уверен, что его не ждет ничто, кроме хорошо известной ему перспективы старения и смерти. Различие между этими двумя психическими установками гораздо больше, чем между двумя родственными видами, которые могут отличаться каким-нибудь зубом или длиной хвоста. Можно без преувеличения сказать, что здесь перед нами два разных вида: *человек смертный* и *человек бессмертный*. Легко понять, что их отношение к миру и самим себе должно быть не просто разным, а во многих отношениях противоположным.

Человек, вынужденный расстаться с религией, теряет, таким образом, не только небесного отца, защитника в трудные минуты жизни, он теряет свое *бессмертие*. Что же он обретает взамен? На первый взгляд кажется, что приобретение его ничтожно: это всего-навсего ощущение логической связности своих мыслей и поступков. Если отбросить давление «общего согласия», а его не было у атеистов первого поколения, то мы сталкиваемся здесь с новым и величественным явлением. *Достоинство человеческого разума* становится в человеке могучей силой, которую он не хочет променять ни на какую систему самообмана. И человек становится смертным.

Сначала это происходит с добросовестным ученым, затем с образованным челове-

ком вообще, и наконец начинают действовать механизмы кондиционирования, расширяющие новую систему взглядов на всех. Идея завоевывает мир и становится банальной.

Автономный человек и идея прогресса

Разрыв с религией означает отделение человека от племенной, национальной, государственной общности или, как сказал бы Ницше, от *стада*. Когда теряется небесный авторитет, не могут устоять земные, и совершенно справедливо клерикалы эпохи Просвещения предупреждали, что неверующий не может быть верноподданным своего короля. Это был точный и убийственный политический донос, которому тогдашние атеисты могли противопоставить одни уловки и софизмы. В действительности атеизм даже не является необходимым условием общего свободомыслия; достаточно стать независимым в вопросах религии, порвав со всякой церковью. Самостоятельно ищущий бога – тоже плохой подданный своего короля.

Возникает тип человека, предоставленного его собственным силам, живущего в обществе, но не с обществом, взявшего у общества его ценности, но комбинирующего их на свой лад. Это и есть автономный человек. Важно понять, что это человек *взрослый*, не питающий инфантильных иллюзий, будто он может просто *отбросить* первичный материал своего детства. Студент Раскольников – карикатура на автономного человека, нарисованная писателем, трагически не умевшим жить вне «стада».

Вместе с автономным человеком рождается идея *прогресса*. Если обычаи и учреждения людей не признаются как неизмен-

ные условия природы, внешние по отношению к обществу, а начинают рассматриваться как дело рук человеческих, хотя бы и рук целого ряда поколений, то исчезает пиетет человека перед общественным порядком. Обычаи и учреждения сравниваются теперь с системой ценностей, унаследованной от данной культуры и обработанной индивидом, и если обнаруживаются расхождения, то индивид ставит под сомнение *не* работу своей мысли над унаследованными ценностями, а унаследованный общественный порядок. Иначе говоря, он прав перед обществом, а общество перед ним не право. Индивид противопоставляет себя обществу и судит его с полным сознанием своего права; ибо если нет бога, то кто же должен судить общество, если не мыслящий человек?

Отметив расхождения между выработанной системой ценностей и общественной жизнью, вполне логично далее наметить план изменения общественного порядка и искать средства, как это сделать. И так как ценности вырабатываются не случайно, а закономерно возникают в головах представителей данной культуры, то непременно найдутся единомышленники, стремящиеся к общим целям. Они образуют не шайку разрушителей культуры, потому что им дорога культура, давшая им свои ценности, а «молодую группу старой культуры», как это превосходно выразил Конрад Лоренц.

Таким образом, процесс изменения культуры перестает быть автоматическим, не зависящим от воли людей приспособлением к меняющимся условиям, а приобретает новую составляющую – сознательную волю людей. *В обществе возникает новая «обратная связь».*

Условием такого сознательного направления общественной жизни является само-

стоятельно мыслящая личность. Необходимо, чтобы в обществе постоянно появлялись такие личности, а *идеальным* решением задачи о динамическом обществе было бы такое общество, где самостоятельно мыслят все. Конечно, никак не очевидно, что такое общество может существовать. Но динамическое общество, однажды возникнув, до сих пор существует. Мы хотели бы знать, не угрожает ли ему гибель.

Марксисты придерживались крайнего оптимизма во взгляде на человеческую личность. Эти люди удивительным образом считали разрушение трудным делом, а созидание – легким: они полагали, что трудно сокрушить старое общество, но очень легко создать нового человека. Все их усилия были направлены поэтому на подрыв унаследованного общественного порядка; они выискивали в них трещины и усердно вбивали в них клинья, злорадно наблюдая, как эти трещины расширяются. И если унаследованный порядок был связан с производительными силами страны, психическими установками тружеников и культурной традицией, то они с энтузиазмом подготавливали разорение, голод и духовную нищету. Конечно, опасности этого рода связаны с любым видом героического энтузиазма. Глупости и преступления, совершенные русской революцией – неудавшейся революцией, соразмерны с ее трагическим величием. Критика этих глупостей и преступлений не является задачей этой работы: над нею уже поработали многие, но главная работа еще предстоит.

Мы хотим заняться здесь другой стороной дела: положительной программой марксистов, если можно о ней говорить всерьез.

Убожество марксистской концепции человека впервые обличил Бердяев; он сделал это в 1901 году, в работе под названием «В защиту идеализма». Если понимать слово «идеализм» в его нефилософском смысле, бытовавшем в тогдашней России, то идеалистами в отношении человека оказываются как раз марксисты, а вопиющий в пустыне Бердяев защищает материализм, предъявляя реальности человеческой психики. Но мы не последуем за Бердяевым в его критике, потому что его философская позиция не позволяет увидеть в этом вопросе самого человека.

Вообще трагедия философа – его угол зрения. Философ выбирает себе место, с которого рассматривает мир, вернее, его личная история сажает его в это место. Чаще всего он попадает при этом в общую галерею, где сидит большинство зрителей, и видит то же, что видят все. Почти все мыслители, бывшие в России в начале века, видели мир с позитивистских и радикальных позиций. Бердяев смотрел на мир с позиции христианского мистика. Гора предрасудков позитивизма не мешала ему смотреть на происходящее. Но другая гора закрывала ему поле зрения – гора предрасудков религии. Самые очевидные связи, если они оказываются в запретном углу зрения, ускользают от самого пронизательного философа.

Есть и комедия философа – его учительная претензия. Я имею в виду то место, в котором философ переходит от критической части своей философии к позитивной. Комизм этой ситуации Ницше выражает стихами средневековой мистерии:

Является осел,

Прекрасный и необычайной силы.

Комическая сторона философии Бердяева заслуживает отдельного исследова-

ния. Дело это настолько назревшее, что, возможно, в то время, когда я пишу эти строки, где-нибудь в дебрях России сочиняется уже «Анти-Бердяев». Но вернемся к нашей теме.

Марксизм некритически унаследовал иудео-христианскую концепцию человека. А так как он произошел не из церковного, а из хилиастического христианства, то унаследовал он эту концепцию не в виде изоциренного знания о человеке, сложившегося в опыте церкви, а в ее первоначальном виде, в каком она была у первых христиан. Простые люди, писавшие Евангелия и собиравшиеся в катакомбах, мыслили себе человека падшим ангелом. В основе своей человек был прекрасен, это был Адам, сотворенный по образу и подобию божию, чтобы жить в раю, но потом совершился первородный грех, омрачивший природу человека. Эта порча, происшедшая от дьявольского соблазна, не является неотъемлемой частью человеческой природы; в самом деле, Адам был сотворен по образу того, в ком нет порока, сотворен для вечной жизни; и в конце времен первородный грех снимется с человека в час Страшного суда. Тогда праведные населят земной рай, и будет Тысячелетнее царство, где царем будет Иисус Христос; а затем ведомые Христом праведники последуют в рай небесный.

Существенной частью этой доктрины является учение о чистоте и непорочности Адама, скрытой под грязью первородного греха, и о возможности эту грязь дочиста отмыть, поскольку она не связана с подлинной природой человека. Каждый раз, когда вы слышите рассуждения о том, что человек *по природе своей* добр и прекрасен, вы слышите учение о сотворении Адама и первородном грехе.

Так вот, марксисты основали свое учение о человеке на допущении, что первородный грех – это прибавочная стоимость, а прекрасный по природе своей Адам, которого надо лишь отмыть от этой скверны, был обнаружен под именем Пролетарий. Этот малоудачный термин (означающий по-латыни примерно то же, что «неимуций, живущий случайными доходами» или «босья») был связан с заводским рабочим, а потом, не без колебаний, с деревенским наемным рабочим, батраком, и крестьянином-бедняком. Признаком пролетария было отсутствие собственности: единственным имуществом пролетария были собственные руки. Если он жил в городе, то в наемной квартире; если в деревне, то ему позволялось жить в собственной хижине при условии, чтобы у него не было лошади или была совсем плохая лошадь. Все это не пародия на взгляды марксистов, а их практические критерии сортировки и обработки людей. Впрочем, мы зашли слишком далеко.

Первые марксисты, как и первые христиане, не очень задумывались о подлинных свойствах своего Адама. Предполагалось, что как только Пролетарий стряхнет с себя бремя капитализма, он проявит честность, волю к разумному самоуправлению и организации, жажду и способность к духовному развитию. Со стороны марксистов было бы просто неприлично указывать освобожденному Пролетарию, что ему следует делать на другой день после освобождения: по отношению к этому мифическому герою, созданному их воображением, они проявляли суеверное почтение. В России к этому прибавилось еще народническое наследие: герой предыдущего мифа уже был всем известен и назывался «Мужику», так что оставалось лишь его переименовать.

Все это лучше описать словами очевидца. В двадцатые годы XIX века в Берлине был кабачок Гиппеля, где распивали вино (а не пиво, как это было принято в большинстве таких заведений). В этом кабачке собирался цвет берлинской радикальной молодежи; бывали здесь и молодые люди, составившие себе впоследствии известность: молодой человек, выпустивший в 1845 году под псевдонимом Макс Штирнер манифест анархизма «Единственный и его собственность», и будущие социалисты Бауэр, Маркс и Энгельс. Жаль, что берлинская полиция, следившая за этими господами, не располагала средствами звукозаписи; судя по известным нам фрагментам сочинений молодого Маркса, здесь могли прозвучать мечты о будущем, которых зрелые борцы впоследствии, может быть, стыдились.

К этому кругу людей близок был молодой поэт Генрих Гейне, один из друзей Маркса. Его «Зимняя сказка» содержит изложение первоначальных идеалов коммунизма, слегка подпорченное иронией, не покидавшей поэта даже в самые серьезные минуты жизни. Хилиастические корни коммунизма обнажаются здесь со свойственным этому автору неприличием:

Новую песню, лучшую песню
Хочу я вам спеть, о друзья:
Мы хотим здесь, уже на земле,
Устроить царство небесное.

Мы хотим быть счастливыми на земле
И не хотим больше бедствовать;
Ленивое брюхо не должно пожирать то,
Что создают трудолюбивые руки.

Везде растет достаточно хлеба
Для всех детей человеческих,

Растут розы и мирты, красота и наслаждение,
А также сладкий горошек.

Да, сладкий горошек для каждого,
Как только вскроются стручки,
А небо мы оставим
Ангелам и воробьям.

А если после смерти у нас вырастут
крылья,

Тогда мы вас навестим
Там, наверху, и мы отведаем с вами
Блаженнейших тортов и пирожных.

К сожалению, не каждый способен стать автономным человеком. Предпосылка, из которой исходили марксисты, оказалась ошибочной, и доказывается это не поведением рабочих в патологических условиях советской жизни, а чрезвычайно поучительным опытом шведских социал-демократов. Более чем сорокалетнее правление их создало для шведских рабочих условия, небывалые в истории. Швеция стала к концу этого периода богатейшей страной в мире, с наибольшим доходом на душу населения; шведский рабочий, главный предмет заботы шведских социал-демократов, получил практически обеспеченный заработок, сорокачасовую рабочую неделю, шестинедельный оплачиваемый отпуск, бесплатное среднее и высшее образование, бесплатную медицинскую помощь и тщательно продуманную систему социального обеспечения в старости, при болезни и во всех случайностях жизни. В Швеции впервые в истории было покончено с бедностью. Социал-демократы надеялись, что рабочий, освобожденный от борьбы за кусок хлеба, имеющий много свободного времени, проявит

то стремление к духовному развитию, которое ему приписывала марксистская доктрина. Они поставили чистый эксперимент, какого мог бы пожелать сам Маркс, и притом эксперимент бескровный: им не понадобилось ни экспроприировать, ни уничтожить свою буржуазию, что в моральном отношении не пошло бы на пользу рабочему классу. Результат получился вполне определенный, но вовсе не тот, какого они ждали. За редкими исключениями рабочий оказался не способен к самостоятельному развитию. Он пассивно принимал систему ценностей, сложившуюся в буржуазном обществе и, освобожденный от бедности, попросту стремился превратиться в буржуа. Он обзаводился вещами, обеспечивая себя на всякий случай, а свободное время просиживал у телевизора. Хуже того, свободное время и высокий уровень благосостояния стимулировали рост пьянства и юношеской преступности, прежде не особенно развитых в этой стране. И это только начало, потому что социологи предвидят угрожающий процесс общественного разложения, главной движущей силой которого будет как раз освобожденный от бедности и изнурительного труда пролетарий. Он просто не знает, что с собой делать, и, постепенно теряя традиционные навыки трудолюбия и приличного поведения, превращается в асоциального паразита.

Конечно, можно возразить, что шведские социал-демократы, несколько потеснив капитализм и создав ему некоторый государственно-кооперативный противовес, не уничтожили «частной собственности на средства производства» и что зловредное идейное влияние буржуазии не дает рабочему классу обрести свое независимое лицо. Конечно, среди марксистов найдутся и такие, кто склонен объяснить

этим неудавшийся шведский опыт. С точки зрения первоначальной доктрины это вполне можно обосновать. Если прибавочная стоимость играет роль первородного греха, то конкретные носители этого соблазна, капиталисты и их агенты, должны рассматриваться как прислужники дьявола, выродки и колдуны, которых надо прежде всего искоренить. Для этого надо учредить инквизицию и четко определить линию, отделяющую овец от козлищ. Все это уже было. Такой взгляд на мир называется, по имени одной христианской секты, манихейством, и дважды в истории он одерживал верх: в известной стадии средневекового христианства, иногда называемой «религией дьявола», и в последней ереси христианства – большевизме.

Во всяком случае, материальные условия жизни человека связаны с его сознанием (и что важнее, с подсознанием) не так просто, как предполагали марксисты. Если до известной степени верно, что бытие определяет сознание, то в понятие бытия приходится включить не только экономические условия, но и всю совокупность условий культуры, и тогда марксистское содержание этой знаменитой формулы расширяется до неузнаваемости, так что она становится неотличимой от формулы эмпиристов: нет ничего в уме, чего бы прежде не было в ощущении. Но и в этом случае остается без внимания важнейший фактор формирования личности – наследственность. Если ее тоже включить в понятие бытия, то формула Маркса превращается попросту в логический «принцип достаточного основания» в применении к человеку. Действительная ценность точки зрения Маркса состоит в том, что она подчеркивает важность экономической составляющей в системе стимулов человеческого поведения. Бывают эпо-

хи, когда об этой составляющей слишком уж забывают; таково было время Маркса, и в этом было значение для того времени его знаменитой формулы «бытие определяет сознание». В наше время люди ударились в другую крайность и стали на практике почти такими экономическими автоматами, какими Маркс представлял себе в первом приближении своих средних братьев. Увы, не осталось последовательных марксистов, которые могли бы этому порадоваться.

Но хотя в известных условиях (точнее, в условиях распада культуры) человек и реагирует на экономические стимулы столь непосредственно, как этого требовал Маркс, благосостояние и свободное время не делают из него самостоятельного человека. Парадокс здесь в том, что человек, способный к духовному развитию, менее всего напоминает экономический автомат, и чем его можно стимулировать, очень трудно понять. Если же он похож на экономический автомат, то стимулировать его нетрудно, но этим можно добиться лишь того, что автомат перестанет работать.

Свобода как стимул человеческого развития

Известно лишь одно средство, стимулирующее развитие если не отдельного индивида, то большого числа предрасположенных к развитию людей: это средство – свобода. Грубое экономическое стимулирование, стремящееся осчастливить всех в самое короткое время, может свести на нет и это проверенное историей средство. Этому нас учит шведский эксперимент. Мы не знаем способа сделать из каждого человека автономную личность, и имеются серьезные основания сомневаться, возможно ли это при сохранении биологической основы человека. Мы можем оставить в сторо-

не «положительную евгенику», то есть предложение Гальтона улучшить человеческую породу скрещиванием и отбором, как улучшаются породы домашнего скота. Это предложение не заслуживает внимания не только потому, что трудно представить себе популяцию, еще достойную имени человека, которая позволила бы скрещивать, холостить и выбраковывать людей, как это делают скотоводы. Другая причина, обесценивающая идею Гальтона, состоит в том, что процедуры этого рода, ведущие к эффектам «одомашнения» животных, уже достаточно изучены и не вызывают больше иллюзий: они прежде всего нивелируют популяцию, устраняя из нее всякую индивидуальность.

По-видимому, условия, способствующие развитию индивидуальности, встречались в истории и в отдельных местах и ненадолго вызвали почти невероятную концентрацию энергии и дарований. Афины времен Перикла, Флоренция эпохи Возрождения, русский XIX век трудно было бы понять, если бы не было чего-то вроде духовных эпидемий, обильно производящих при подходящих условиях необычные экземпляры «человеческого растения». К сожалению, мы не знаем этих условий, а может быть, и к счастью, потому что каждая такая эпоха завершалась трагическим развалом.

Но нельзя сказать, что мы *совсем* ничего не знаем об этих вещах: кое-что мы знаем вполне определенно. Мы знаем условия, при которых независимая личность появиться *не может*. Россия вошла теперь в полосу истории, почти равносильную интенсивному одомашнению людей. При виде того, что происходит в этой стране, трудно отделаться от манихейства мещанского пошиба, рисующего над всем этим дьявола

в виде Великого Скотовода. Неутешительный, но неизбежный вывод о человеческой природе состоит в том, что средний человек не способен к независимому развитию. Он даже не слишком обижается, когда ему это говорят: книга Эрика Фромма «Бегство от свободы» стала в Америке бестселлером и выдержала невероятное число изданий.

Проблема «среднего человека» возникает не только в размышлениях о смысле жизни, но и в экономике сегодняшнего дня. Дело в том, что «средний человек», не способный к независимому мышлению и собственной инициативе, этой экономике уже не нужен. Его можно заменить машиной. Когда мы входим в автобус или трамвай, мы не удивляемся, увидев там вместо кондуктора металлический ящик. Между тем это глубоко значительный факт: ведь еще недавно функцию этого ящика исполнял человек! И вот оказалось, что его можно без особого экономического ущерба заменить простой машиной; если этого не сделали раньше, то просто по недомыслию. Из всех возможных взаимодействий между кондуктором и пассажиром, в каких могла проявиться кондукторская личность, существенным оказалось только одно – имитируемое нажатием на клавишу или поворотом ручки. Эта ситуация типична. Конечно, в большинстве случаев замена живого человека машиной пока еще экономически невыгодна, в особенности по той причине, что это потребовало бы радикального пересмотра всей технологии и затрат на оборудование, превосходящие возможности нынешних хозяев. Кроме того, они страшатся социальных последствий. Но в принципе «средний человек» скоро станет столь же излишним, как кондуктор. Если только для какой-нибудь специальной цели не нужно будет, чтобы он бранился, суетился или иными

способами проявлял свою человечность, его заменит металлический ящик. И тогда, поскольку он должен будет как-то существовать, небольшой группе инженеров, заменившей его в производстве, придется содержать его в виде пенсионера, придумывая для него, вероятно, какие-нибудь фиктивные занятия. Нельзя же, в самом деле, обойтись без продавца или парикмахера, готового с вами поболтать, хотя бы все их деловые функции были переданы машине. Но все это в будущем. Посмотрим теперь, что произошло со «средним человеком», когда динамическая культура выбила у него почву из под ног.

Произошло это в XIX веке. Традиция средневекового общества в начале XIX века все еще держалась, хотя и дала уже трещины. В «передовых» слоях общества уже не верили в бога, но основную массу народов Европы составляло крестьянство, а оно было еще вполне религиозно. Крестьянин жил почти такой же жизнью, как его предки, и был, как правило, неграмотен. Работу свою он выполнял собственными руками или при помощи домашних животных. Он был глубоко привязан к земле; революции и реформы, доставившие ему – в Западной Европе – более независимое хозяйственное положение, дали ему возможность проявить эту привязанность в полной мере. Мир его представлений оставался, по существу, средневековым; вся его мудрость была унаследована им в виде фольклора, сказок, поговорок, родительских поучений. Крестьянин мог жить только в общине, с которой был связан не только экономическими, но и глубокими эмоциональными узами. Можно сказать, что он еще не выделился из *общины*

нби в самостоятельную личность. Особенно сохранилось все это в России, и целая школа русских мыслителей основывала на отсталости русского крестьянства свои надежды.

Буржуазия, сложившаяся в Западной Европе, но еще не в России, была более подвижна, менее привязана к механической смене времен года и следующих за ними трудовых операций, менее суеверна. И все же значительная часть средневековых традиций была еще в ней жива. Буржуа все еще по образу своей жизни и характеру выполняемого труда оставался цеховым ремесленником, хотя и свободным уже от цеховой регламентации. Он сохранил прежние отношения с коллегами по ремеслу, с учениками и подмастерьями, с торговцами и покупателями. Он жил той же патриархальной семейной жизнью, в тех же нравственных понятиях. Удивительно сочную картину традиционного французского буржуа с его крепким сложившимся бытом, с жестким наследованием нравов и привычек нарисовал Жан Ренуар в биографии своего отца, столь непохожей на обычные сочинения этого жанра.

Образованный слой населения, немногочисленный в то время, отошел от традиции больше всего. Дворяне были в значительной степени циники и вольнодумцы в вопросах религии, но незыблемо хранили средневековый кодекс чести. Воинская доблесть рассматривалась в этой группе людей как нечто само собой разумеющееся, а в некоторых наиболее воинственных нациях Европы, например у французов, понятия о воинской чести распространились на широкие массы буржуазного и крестьянского населения. Этим в значительной степени объясняется глубоко феодальный характер того человеческого материала, кото-

рый унаследовали от старого режима революция и Наполеон.

Террористы и их жертвы имели одинаково фантастические представления о чести и долге, о достойном и недостойном поведении на поле боя и на ступенях гильотины. Русское дворянство, болезненно переживавшее свое недавнее холопство, всячески пыталось подтянуть свои унаследованные феодальные понятия, изрядно отдававшие крепостным душком, до лучших европейских образцов. Самые усердные из них зашли в своем благородстве так далеко, что почти не говорили по-русски.

Мы оставили пока в стороне рабочий класс, не игравший еще важной роли, во всяком случае на континенте.

По существу наполеоновские войны представляют собой рубеж, отделяющий «новейшую историю» от «новой», и, как уже не раз отмечали историки, XIX век начинается, по существу, с 1815 года. (Столь же логично считать, что завершается он Первой мировой войной). XIX век был временем высшего расцвета европейской культуры. Как говорил Мюссе в той же цитированной выше поэме, «из века без надежды родился век без страха»: освобожденное от средневековой системы взглядов европейское общество бесстрашно пошло навстречу будущему; потеряв надежду на личное бессмертие, человек заменил ее другой великой надеждой, надеждой на безграничное развитие своего вида. Родился *Великий Проект*.

Идея о совершенствовании человека и общества сознательными усилиями людей была основательно подготовлена в XVIII веке. Ее вовсе не выдумали якобинцы, хотя на них и свалили вину за неудачное прожектерство, как впоследствии на большевиков. Якобинцы (и большеви-

ки) представляли в партии прогресса лишь одну фракцию – *нетерпеливых*. Люди, давно и вдумчиво опекавшие этого великого младенца – пробуждавшийся к сознательной жизни Человеческий Род, досадовали на грубые приемы революционной партии, разрушившей их дальновидные планы. Они представляли себе будущую Европу, говорит Швейцер, как цветущий сад, в котором сохранилось бы все разнообразие, весь неповторимый аромат исторических культур и местных традиций; постепенное смягчение нравов, длительный процесс *воспитания* нового человека уже начинался повсюду: век Просвещения воспитывал все сословия в духе терпимости и братства, не исключая и государей. Уже были проведены значительные реформы. Пруссия, Австрия и даже Россия имели просвещенных правителей, терпеливо приводивших в порядок свои лесные трущобы и болота, запущенные в Темные века.

Первыми опекунами человечества были масоны. Лучшими из них были люди разных сословий, принимавшие всерьез и пытавшиеся осуществить христианский идеал совершенного человека. (Как мы видим, идея «прогресса» с самого начала, а начало это было задолго до позитивизма, социализма и вообще всяких учений, названия которых оканчивались на «изм», происходит от христианской традиции.) Тайные общества, или слегка прикрытые от любопытства публики тайные собрания масонов, возникли в начале XVIII века, впитав в себя некоторые течения средневекового христианства. Самое название «масон» означает по-французски «каменщик». Первая масонская ложа возникла в Англии, причем для прикрытия ее была вначале использована корпорация каменщиков, характер которой изменили вошедшие в нее образован-

ные люди. Отсюда и произошло название «вольные каменщики», получившее символическое значение. (Строители соборов!)

Как и всякое человеческое движение, масонство было неоднородно в нравственном смысле. В ряде случаев масонские ложи были просто собранием светских людей, развлекавшихся таинственными церемониями. В других случаях масоны становились честолюбцами, тайно поддерживавшими друг друга в погоне за властью. Все эти явления мы можем здесь игнорировать, равно как и болезненные реакции на масонство в шовинистических кругах, опасавшихся его космополитических тенденций и зарубежных связей.

Доктрина масонов заключалась в том, что все люди – братья и что человек по природе своей совершенен. То и другое доказывалось учением Христа. Таким образом, масоны считали себя христианами и подобно Спасителю стремились «не нарушать закон, но исполнять его». Они не придерживались, однако, византийского квиетизма и полагали, что бог требует от человека деятельной работы на ниве господней, а не аккуратного выполнения церемоний. Иначе говоря, масоны стремились творить добро. Важной частью их дела была благотворительность, но еще важнее было стремление к лучшему человеку и лучшему обществу, в котором нетрудно узнать старое учение о подражании Христу. Масоны подчеркивали, что задача их объединяет все нации и сословия, ибо все различия между людьми ничтожны перед богом. Сказано ведь, что для бога нет «ни еллина, ни иудея». Но люди, по мнению масонов, не всегда готовы принять добро, а иногда по неразумию или неведению воздают за него злом. Они часто не ведают, что творят, поэтому планы всевоз-

можных благодеяний лучше до удобного времени сохранять в тайне. Приходилось же первым христианам скрываться в катакомбах. К тому же лучше творить добро, не обнаруживая его источника: пусть правая рука не знает, что делает левая. Таким образом, масоны считали себя общиной избранных, чем-то вроде христианской элиты, связанной общим делом. У них не было иллюзий относительно «среднего человека», которого они не считали способным к самостоятельной духовной работе, ему надо было помочь незаметно, чтобы он не заподозрил вмешательства в его жизнь и не помешал благому делу. Далее, они полагали, что человек вообще далек от совершенства и лишь постепенно может приблизиться к пониманию высоких истин. Поэтому самые важные планы нельзя доверить и всем масонам, а только избранным из них, осторожно расширяя круг посвященных. Это вполне согласно с практикой всех тайных организаций: без иерархии невозможно хранить тайну.

Нетрудно понять, что таинственная иерархия масонских лож могла стать и смешной, и опасной – не только для властей, терпевших или не терпевших деятельность такого рода, но и для дела, за которое они взялись.

Масоны были в России, при Екатерине II и после нее. Тайны их были довольно прозрачны, и до Французской революции ложи существовали с ведома императрицы. Самым деятельным из русских масонов был Новиков, изображаемый у нас как прогрессивный деятель и просветитель. Он и в самом деле был просветитель – первый в России издатель переводной литературы, в политическом смысле почти невинной. Это не помешало Екатерине в конце концов посадить его в крепость.

Французская революция и последовавшая за ней реакция были тяжким ударом для масонов и всех других реформаторов, сторонников «мягкого» прогресса. Швейцер, один из наследников этого направления, говорит, что революция заменила идею цветущего сада, где любовно возделываются свободно растущие деревья, чем-то вроде плана распахки с однородными прямоугольниками, возникшими в голове бюрократа.

Масоны не были единственными заступниками и опекунами человечества. Революция была подготовлена, главным образом, людьми другого типа, «философами» Просвещения, известными еще под именем «энциклопедистов».

Кто же были эти люди? Вряд ли надо причислять к ним предшественников, еще далеких от конечных выводов Просвещения, самым выдающимся из которых был осторожный натуралист-наблюдатель человеческих учреждений Монтескьё.

Когда говорят о Просвещении, то имеют в виду преимущественно четырех человек: Вольтера, Дидро, Даламбера и Руссо, занимающего среди них обособленное место.

Замечательно, что три главных философа Просвещения – Вольтер, Дидро и Даламбер – были люди весьма умеренных взглядов. Лишь в одном отношении они были непримиримы – в своем безбожии. Впрочем, Вольтер опасался, что безбожие подорвет моральное состояние простого народа, и предпочел бы, чтобы оно осталось эзотерической доктриной для немногих. Все трое держались весьма умеренных взглядов на государственные учреждения и ожидали улучшений от постепен-

ных реформ, проводимых сверху. Дидро, наиболее радикальный из них, был мудрец, не строивший себе иллюзий по поводу быстрого усовершенствования человека. И все же Просвещение совершило свою разрушительную работу.

Дело в том, что, отвергнув авторитет религии, нельзя уже не критически относиться ни к какому авторитету вообще. Все на свете становится после этого предметом целеустремленного сомнения, подвергается экзамену и, не выдержав экзамена, как правило, отвергается. Что из того, что сами вожди Просвещения предпочитали медленные улучшения и боялись ломки сложившихся общественных учреждений? Достаточно было уничтожить их *авторитет*, уничтожение самих учреждений могли взять на себя другие. И эти другие не замедлили явиться. Сюда прибавилось еще одно обстоятельство, важное в психологическом отношении. Система, против которой вооружились энциклопедисты, к середине XVIII века основательно прогнила. Она созрела для разрушения и ждала разрушителей. Было бы наивно полагать, что люди, на которых история возложила эту задачу, будут разрушать вежливо и осторожно. Вольтер был простого происхождения и был в молодости побит палками по приказу шеваляе де Роана, он не мог вызвать шеваляе на дуэль. Дидро был тоже простолюдин, а Даламбер – подкидыш. Феодалное общество каждый из них ощутил на собственной шкуре. Дело, которое им суждено было совершить, было исполнено с великой страстью. Да и вообще, может ли человек говорить спокойно, если видит перед собой Зло и обладает средствами это зло сокрушить хотя бы словесно? По справедливому выражению Бакунина, «Радость разрушения есть тоже творческая радость».

В некоторые моменты истории все честные люди согласны между собой, что Карфаген должен быть разрушен.

Способ, которым это было исполнено, от них не зависел. Никто из корифеев Просвещения до революции не дожил. Революцию делали их ученики. И в революции проявились равным образом слабейшие стороны философии Просвещения, яснее всего представленные у Руссо. Энергия, свойственная человеческому мышлению, неизбежно привела к тому, что люди, вооружившиеся против иррационального авторитета средневековых доктрин и учреждений, усвоили себе крайний *рационализм*. Это значит, что они игнорировали *органический* характер человеческих понятий и учреждений, вырабатываемых историей наподобие того, как в ходе эволюции вырабатывается вид животных, и не принимали в расчет энергию, свойственную этим органическим структурам. Они полагали, что все негодное в человеке и обществе может быть обнаружено критическим Разумом, наконец пробудившимся от тысячелетнего сна, и что Разум может указать пути, как построить правильное общество и создать правильного человека. Поскольку они недооценивали сложность и неизученность того и другого, им казалось, что планы переделки общественного порядка можно немедленно составить и привести в действие. И тогда за Веком Просвещения явится Век Разума, идеальное человеческое общество, вышедшее из человеческой головы.

Наивный энтузиазм, с которым понимались и применялись учения энциклопедистов, был свойственен не столько их достаточно умудренным жизнью вождям, сколько ученикам и последователям, просветителям более мелкого пошиба, большею частью давно забытым. Не забыт только вдох-

новитель этой штурмовой колонны Просвещения, sentimentalный проповедник Руссо.

Руссо никоим образом не крупный мыслитель. Он одержимый комплексами фантазер. Идей у него немного, и они несложны. Человек по природе своей добр и прекрасен (читатель знает уже происхождение этой доктрины). Он создан для того, чтобы жить райской жизнью в отношениях сладостной любви и братства с себе подобными. Для этого нужно договориться, как устроить общественные дела, и соблюдать этот договор. Люди поняли это когда-то и, обсудив свои дела, учредили на земле порядок. Но вскоре явились нарушители договора, злые эгоисты, присвоившие себе право на землю и захватившие в свою собственность все блага природы, которые должны быть общим достоянием. Задача состоит в том, чтобы заключить новый, более действенный Общественный договор, по которому равные граждане учредят идеальную республику. Добрая воля и разумность избирателей (в которых Руссо несколько не сомневается) сразу же приведут к наилучшему способу правления. Поскольку порядок этот будет и в самом деле наилучший, оспаривать его смогут разве что сумасшедшие или люди дурных наклонностей. Для них будут введены суровые наказания, вплоть до смертной казни.

Доктрина эта имеет бесспорное преимущество простоты. Она исходит из небольшого числа постулатов, которые кажутся вполне логичными. Главный из них состоит в том, что все люди *равны* по своим функциям и потребностям и что наилучший (теперь бы сказали – оптимальный) режим работы этих одинаковых автоматов может быть раз и навсегда установлен. Другой основной постулат полагает, что человек – автомат *раз-*

умный, а именно принимающий решения в зависимости от своей выгоды. Как только он узнает, в чем его наилучший режим, он сразу же согласится устроить все таким образом, чтобы все люди могли пользоваться этим (одинаковым для всех) режимом. Небольшая модернизация терминов ничего не меняет в рассуждениях Руссо. Конечно, сам Руссо пользуется совсем не таким языком. Вместо автомата у него *разумный* гражданин. Но его «гражданин», как неизбежно следует из Общественного договора, наделяются в точности описанными выше свойствами. «Равенство, братство и свобода» произошли от Руссо: в этой формуле «равенство» представляет главный (и весьма зловещий) компонент; «братство» при условии полного равенства может означать лишь любовь к установленному образцу человека, а что касается «свободы», то ее, очевидно, остается трактовать в сугубо философском смысле – как «осознанную необходимость» наилучшего порядка. В ходе революции «умеренных» постепенно вытеснили «экстремисты». Вначале предлагалось последовать образцу английской (неписаной) конституции и упорядочить исторически сложившуюся Францию, не посягая сразу на выработанные историей особенности людей и осторожно касаясь учреждений. На первых порах предполагалось устранить очевидные злоупотребления, предоставить будущему решить, может ли общество стать идеальным.

В конце же к власти пришли люди, желавшие иметь идеальное общество *здесь и сейчас*.

Постарайтесь понять Неподкупного! Перед ним лежит в агонии Старый режим, общество, воплотившее в его глазах Несправедливость. Этот режим, разъеденный,

как проказой, своими пороками, угнетал Человека и его Разум. Неравенство в этом обществе было вековым грабежом, хаосом переданных по наследству привилегий. И защитники его не были бескорыстны: каждый из них охранял свой собственный интерес, интерес своей группы присосавшихся к Нации пиявок. Стоит сохранить какую-нибудь язву режима, и вслед за нею снова разовьются все другие! Можно ли откладывать Великое Дело, если каждый час порождает новых врагов, если двор подкупает развратного Мирабо, а эмиссары Питта хотят натравить на нас всех аристократов Европы? Если можно *сейчас*, пока старый режим бессилен, учредить Республику и показать нации и миру образцы нового общества, свободного от вековых недугов?

И можно ли допустить, чтобы в пьянящее вино Чистого Разума бросали исторические нечистоты?

Идея прогресса рождается, таким образом, в XVIII веке, и уже в конце этого века ее компрометируют нетерпение и фанатизм. Реакция на Французскую революцию обнаруживает слабости доктрины Руссо. Человек оказывается существом *историческим*, общество – чем-то вроде выросшего живого организма, и от «механистической» модели Просвещения возвращаются к «биологической» модели Менения Агриппы. Если различные классы общества подобны голове, желудку, рукам и ногам, то всякое искусственное программирование общества так же безнадежно, как хирургическое улучшение вида животных. Далее, общества, сложившиеся в разных странах и в разные времена, столь же различны, как разные виды, и одно из них не может служить образцом для друго-

го. Общее настроение мыслей становится «почвенным» и консервативным.

Но великий проект пережил эту реакцию. Послушаем, что говорит о нем на рубеже XIX века великий и благородный ум, свидетельствует Виланд. Философский диалог его написан около 1790 года. Юпитер, *снисходительный* и скептический, как все достаточно старые боги, обсуждает с коллегами-олимпийцами последние новости: старая религия перестала быть государственной религией Римской империи. Умудренный опытом громовержец знает, что бесполезно противиться духу времени. И вот к нему является Неизвестный, которого комментаторы Виланда в своей филологической простоте принимают за Христа. Как это обычно происходит при смене кабинета, он излагает свою программу и отвечает на замечания предшественника. Он намерен заняться улучшением человеческого рода, который очевидным образом в этом нуждается. Он

хорошо знает все свойства этого неблагодарного объекта и не питает надежд на быстрый прогресс: чтобы добиться чего-нибудь серьезного, понадобятся тысячи лет. Этому не приходится удивляться, ведь слабости и пороки человечества сложились тоже не сразу. Он знает, что в этом длительном движении вперед неизбежны временные задержки. Самый же главный довод его – что *другого пути нет*. Нет другого пути для *человека*, если он не хочет признать свое поражение.

Другой путь есть лишь для капризного бога, который всегда может свалить на человека свое неумение с ним справиться, устроив потоп или Страшный Суд. Как он похож на Неподкупного в своем нетерпении! Но ведь он всеведущ, всемогущ, милосерд, а главное – перед ним вечность!

Новосибирск, ок. 1980 г.

PHILISTINISM, ITS HISTORY AND PHILOSOPHY

A.I. Fet

The article deals with the phenomenon, which nowadays is widespread and threatening, and for which the most suitable word is “Philistinism”. The traditional society created the type of a person who was completely associated with his native social group, and who could not imagine his life without this group. The traditional culture is static and unable to create an autonomous person. Dynamic culture presents itself as changing, and seeking to change in the desired direction. Therefore, this culture puts a new purpose rather than simple self-preservation: it seeks how to “become better”. The idea of progress occurs and crystallizes in the history of European philosophical thought. Losing religion, a man is relying on the dignity of the human mind, which acquires a great strength for human society. The break with religion means a final separation of the autonomous person from the group. But at the same time there appears an obvious strife for banal simplicity, averaging everyone and the requirement for construction of the ideal society here and now.

Keywords: philistinism, traditional society, dynamic society, autonomous person, the idea of progress, the forcible nature of science.